

ЧИСТЫЙ МАРШРУТ



ХОЛЛИ ЭШТОН



Холли Эштон

Чистый маршрут

<https://litres.ru/74324983>

SelfPub; 2026

Аннотация

Восемь лет Вера Астахова ненавидит человека, который предал её отца и ушёл из их конюшни в одну ночь. Теперь у неё заложенное родовое «Заречье», три месяца до банковских торгов и Искра — норовистая рыжая кобыла, последняя память об отце, которую не подпускает к себе никто, кроме хозяйки. Спасение предлагает тот самый предатель. Глеб Ратников вернулся из Германии, стал её главным соперником на маршруте — и, по условию контракта, её тренером. Цена: ехать под чужим флагом до финала Кубка. Но старое предательство окажется совсем не тем, чем казалось восемь лет, а чистый маршрут — без штрафных, без ошибок, без боли — не проходят ни в конкуре, ни в любви.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	13
Глава 3	21
Глава 4	30
Глава 5	39
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Холли Эштон

Чистый маршрут

Глава 1

Четыреста восемьдесят килограммов под ней хотели убивать.

Не её — жерди. Искра всегда ненавидела жерди так, будто каждая лично была виновата в чём-то давнем и непростённом, и в дни, когда кобыла просыпалась с этой ненавистью, Вера знала: либо они сегодня выиграют, либо разнесут маршрут в щепки. Третьего у Искры не водилось.

Разминочное поле гудело. Пахло разогретым песком, конским потом и чьей-то сторовшей на солнце травой за оградой; из динамиков над трибунами боевого поля глухо, как изпод воды, доносился голос диктора. Вера сделала ещё один круг рабочей рысью, села глубже, попросила переход в галоп. Искра ответила сразу, мягко, всей спиной — и тут же, не удержавшись, поддала задом: кипела.

— Побереги, — крикнул от барьера дядя Костя. Он стоял, сложив руки на верхней жерди ограждения, в своей вечной выцветшей бейсболке с надписью «Заречье», которую не брали ни стирка, ни годы. — Перепрыжка через десять минут. Трое вас.

Трое. Вера перевела Искру в шаг, бросила повод до пряжки, и кобыла потянулась вниз, отфыркиваясь. Значит, из сорока двух пар маршрут в сто сорок пять сегодня прошли чисто трое. Она слышала, как диктор перечислял: Вольская на Барбадосе — понятно, «Держава» привозит на этап Кубка лошадей дорожке, чем вся Верина конюшня вместе с крышей и долгами. Астахова на Искре — это они. Третью фамилию съел ветер.

— Кто третий? — спросила она, подъезжая.

Дядя Костя снял бейсболку, вытер лоб тыльной стороной ладони. Надел обратно. По тому, как долго он это делал, Вера поняла: сейчас будет плохое.

— Ратников, — сказал он.

Звук был обыкновенный — фамилия как фамилия, три слога. Но у Веры на секунду заложило уши, как в самолёте. Восемь лет эта фамилия жила где-то в дальнем деннике памяти, куда Вера не заходила даже с фонарём.

— Он в Германии, — сказала она глупо.

— Был в Германии. — Дядя Костя смотрел в сторону, на боевое поле, где двое рабочих поправляли верхнюю жердь красно-белого оксера. — Теперь, говорят, в «Державе». Спортивный директор. Вернулся, стало быть.

Вернулся. Вера механически перебрала пальцами прядь Искриной гривы, жёсткую, рыжую, тёплую от солнца. Восемь лет назад этот человек уехал из «Заречья» на рассвете, не попрощавшись, а следом за ним, как вагоны за локомоти-

вом, ушли спонсор, лучшие частники и отцовское здоровье. Отца не стало три года назад. Конюшня умирала дольше.

— Вера. — Голос дяди Кости стал тем самым, каким он когда-то снимал её, двенадцатилетнюю, с упавшего пони. — Перепрыжка. Семь препятствий. Едешь свой маршрут, а не его биографию. Поняла?

— Поняла, — сказала она.

Она не поняла. Потому что в эту минуту по дорожке вдоль разминочного поля, не торопясь, шагом, проехал всадник на тёмно-сером, почти вороном ганноверце — высокий, прямой, с той посадкой, которую не покупают ни за какие деньги «Державы», потому что её ставят с детства, и ставил её Верин отец. Глеб Ратников повернул голову. Нашёл её глазами сразу, без поиска, будто знал, где искать.

Он не кивнул. И она не кивнула. Серый прошёл мимо, размашисто, лениво играя затылком, и Вера успела заметить только шрам — светлую полосу на левой скуле Глеба, которой восемь лет назад не было.

— На старт приглашается участница под номером семнадцать, Снежана Вольская, клуб «Держава», — булькнул динамик.

Дальше всё пошло быстро, как всегда идёт перед стартом, когда время сначала тянется часами, а потом вдруг обрушивается разом. Вольская уехала на поле; трибуны выдохнули, охнули, дважды хлопнули — и по перекошенному лицу конюха «Державы» у входа Вера поняла: восемь штрафных.

Барбадос дважды зацепил. Потом настала очередь серого.

Вера не хотела смотреть. Она стояла у въезда на боевое поле, там, где положено ждать своей очереди, и смотрела всё равно — потому что не смотреть на это было нельзя. Ратников ехал перепрыжку так, как пишут диктант отличники: без единой лишней буквы. Ни одного лишнего темпа, повороты срезаны ровно настолько, насколько можно срезать, не разрушив баланса; серый заходил на препятствия из идеального расчёта, и жерди даже не вздрагивали. На связке — двойной системе в середине маршрута — он сделал то, чего Вера не ждала: добавил, а не сдержал, выиграв, наверное, секунду. Толпа на трибунах, которая не обязана разбираться в расчётах, поняла главное: красиво. Красиво и чисто.

— Ноль штрафных, время тридцать шесть и двадцать две, — объявил диктор. — Лидер перепрыжки!

Хлыст в перчатке стал скользким. Вера коротко выдохнула, трижды, как учил отец, — и стало тихо. Не вокруг: вокруг гудело, лязгало, жило. Тихо стало внутри, там, где надо.

— Тридцать шесть двадцать две, — сказал дядя Костя, подтягивая ей подпругу. Руки у него были быстрые, а голос медленный. — Достанешь, если срежешь на шестое, как утром ходили. Но на последний оксер тогда придёшь с острого угла. Решай на поле. Чистой езды.

— Чистой езды, — повторила Вера. Это была их с отцом присказка, и дядя Костя это знал, и говорил её нарочно.

Колокол. Сорок пять секунд на пересечение линии старта.

Вера подняла Искру в галоп сразу — с этой кобылой нельзя копить ожидание, перегорит, — и повела широкой дугой к первому. Мир сузился до полосы песка и семи препятствий, и в нём остались только счёт темпов, дыхание в такт маху и рыжие уши впереди, которые на подходе к жерди прижимались, как перед дракой.

Первое — чухонец, сто сорок пять, — Искра перелетела с запасом в ладонь. Второе, оксер, — чисто, только треснул воздух от маха. Поворот. Вера села внутрь, кобыла свернулась под ней, как пружина, и вынесла на тройник — раз, два, отталкивание, — Вера слышала, как сзади ахнула трибуна, и поняла без оглядки: не задели, просто близко. Система. Заход из глубины, добавить в первом темпе, ждать во втором. Искра прошла связку зло и точно, выбросив на приземлении песок до ограждения.

Шестое. Вот он, поворот, который ходили утром пешком: срезать — минус полторы секунды. Вера положила взгляд в поворот, отдала внутренний повод, и Искра, поймав её мысль раньше шенкеля, свалилась в дугу так круто, что стремя чиркнуло бы по кусту, будь тут куст. Шестое — чухонец на белых стойках — выросло сразу, в четырёх темпах, из ниоткуда. Раз. Два. Три. Четыре — и вверх, и чисто, и теперь всё, теперь только последний.

Последний оксер стоял, как и обещал дядя Костя, под острым, неудобным углом, и до него оставалось семь темпов, а по секундам они шли лучше серого — Вера чувствовала

это кожей, тем спортивным чутьём, которое не ошибается. И вот тут, между четвёртым и пятым темпом, в ней на долю мгновения включился не спорт. Включилась память: серый ганноверец, ровный, как диктант; светлый шрам на скуле; восемь лет. «Я вам всем», — подумала Вера чужим, горячим, отцовским голосом и послала Искру на препятствие на полтемпа раньше, чем следовало.

Кобыла честно оттолкнулась оттуда, откуда попросили. Ей не хватило пятнадцати сантиметров траектории. Задние ноги сухо стукнули по верхней жерди, и за спиной у Веры — она уже знала звук наизусть, этим звуком кончались все её худшие сны — мягко, дважды подпрыгнув, легла на песок жердь.

— Четыре штрафных очка, время тридцать пять и восемь, — сказал диктор и сделал паузу, честно давая трибунам оценить арифметику: быстрее лидера почти на полсекунды. И бесполезно. — Второе место!

Искра шла шагом, потряхивая головой, недовольная собой, или Верой, или жердями — всем миром. Вера наклонилась и молча положила ладонь на горячую шею. Виновата была не кобыла. Виновата была та секунда, в которую всадница на маршруте думала не о маршруте.

Отец за такое снимал с лошади. «Злость — плохой пассажир, — говорил он, — она тяжелее тебя. С ней лошадь не прыгает».

Искру он увидел за час до того, как она встала на ноги,

— последний жеребёнок Ирбиса, рыжий, мокрый, злой на весь свет с первой минуты. «Эта будет прыгать сто шестьдесят, — сказал отец, сидя на корточках в соломе, и в голосе у него было то редкое, тихое, что появлялось только возле лошадей. — Если найдёт одного своего человека. Такие — однолюбы». Через полгода его не стало. Искра выбрала своим человеком Веру — не сразу, трудно, через два сломанных ребра и одну зиму взаимного отчаяния, — и теперь на всём белом свете у них было по одному существу, которому можно верить: друг у друга.

У выхода с поля стояла Вольская — уже пешая, в расстёгнутом редингтоне, красивая той дорогой, глянцевой красотой, которая одинаково хорошо смотрится на подиуме и на пьедестале. Она улыбнулась Вере ровно шестнадцатью зубами:

— Поздравляю. Серебро — это почти золото.

— Почти, — согласилась Вера и проехала мимо.

Награждение она отбыла, как отбывают очередь в поликлинике: улыбка, розетка, круг почёта. Глеб на пьедестале стоял в метре от неё, и метр этот был шириной в восемь лет; он сказал только «поздравляю», глядя куда-то в скулу, и она сказала «взаимно» примерно туда же. Ближе к вечеру, когда трибуны опустели и по конюшенному городку поплыл запах сена и остывающего песка, Вера наконец осталась с Искрой вдвоём в проходе гостевой конюшни — замывала ноги, шупала, не налилось ли, дышала. Здесь было хорошо. Здесь все-

гда было хорошо: лошади не умеют предавать, у них для этого слишком короткая память на зло и слишком длинная — на добро.

Искра вдруг подняла голову от сетки с сеном и повела ушами в конец прохода.

Вера обернулась, ожидая дядю Костю.

По проходу, в цивильном уже, в тёмной рубашке с закатанными рукавами, шёл Ратников. Шаги у него были правильные, конюшенные — ровные, без резкости, чтобы не дёргать лошадей, и от этой правильности Веру разозлило окончательно: даже ходить он не разучился как надо.

Он остановился в трёх шагах. Посмотрел на Искру. Искра посмотрела на него.

И — Вера не поверила глазам — кобыла, которая в прошлом месяце едва не сняла скальп ветврачу, а кузнеца просто держала в осаде за тачкой, потянулась через решётку денника мягкой рыжей мордой к его плечу. Спокойно. По-своему. Как к своему.

— Не надо, — сказала Вера. Получилось резче, чем она хотела. — Она чужих не любит.

— Вижу, — сказал Глеб и чужого в его голосе действительно не было. Он не поднял руки, не потянулся к морде, как делают все, кто хочет понравиться, — просто стоял и давал себя дышать. — Дочь Ирбиса?

— Тебя не касается, чья она дочь.

— Касается, Вера. — Он наконец посмотрел на неё. Глаза

у него были прежние, серые, спокойные до бешенства; шрам вблизи оказался тоньше и длиннее, чем с седла. — Завтра я приеду в «Заречье». Нам нужно поговорить.

— Нам? — Вера намотала повод на руку, хотя мотать было незачем. — Нам с тобой не о чем разговаривать уже восемь лет.

— О долге, — сказал он ровно. — О твоём долге перед банком. Сумму назвать, или сама знаешь?

Где-то в конце прохода уронили ведро, и звон покати́лся по конюшне, длинный, жестяной. Искра всхрапнула. Вера стояла и слушала, как в ушах, глухо, толчками, идёт её собственная кровь.

Про торги не знал никто. Даже дядя Костя.

— Завтра в десять, — сказал Ратников, повернулся и пошёл к выходу — ровными, правильными, ненавистными шагами.

Глава 2

Из кабинета Мартынова манеж был виден весь — стеклянная стена от пола до потолка, а за ней, внизу, ровный янтарный песок, на котором девочка на пегом пони училась держать двухтемповый галоп. Кабинет пах кофе и новой кожей. Здесь вообще всё было новое — «Держава» строилась заново каждые пять лет, как будто прошлое было грязью, которую прилично стирать.

— Рыжая, — сказал Мартынов, не оборачиваясь от стекла. — Та, что вчера уронила последний оксер и всё равно привезла Снежане четыре секунды. Как её. Искра.

— Искра, — подтвердил Глеб.

— Хочу её Лике. — Мартынов повернулся. Он был невысокий, плотный, стриженный коротко, по-армейски; костюм на нём сидел как на человеке, которому жмут любые костюмы. — Ты видел, как моя дочь едет. Ей нужна лошадь с сердцем, а не эти немецкие диваны за полмиллиона евро, которые прыгают, только если их попросить по протоколу. Купи мне эту кобылу.

Внизу, в манеже, пони сбился в рысь. Девочка — не Лика, младше — терпеливо подняла его обратно.

— Она не продаётся, — сказал Глеб.

— Всё продаётся. — Мартынов сел за стол, отодвинул ноутбук, как отодвигают тарелку. — Я навёл справки. Конюш-

ня Астахова заложена-перезаложена, банк выставляет её на торги в октябре. Девчонка держится на честном слове и постое десяти частников. Я предлагаю ей за кобылу вдвое выше рынка, она гасит долг, все счастливы. Ты знал её отца, кажется. Вот и съезди. По-свойски.

По-свойски. Глеб смотрел на янтарный песок внизу и думал, что за восемь лет слово «свои» так и не срослось у него ни с одним адресом. В Вестфалии он был русским. Здесь он теперь был немцем. А своим он был в одном-единственном месте на земле — на маленькой конюшне за Тверью, где пахло сеном и опилками, где на дверях денников висели таблички, подписанные от руки, и где ему двадцатилетнему Андрей Палыч Астахов говорил: «Посадка у тебя от бога, а голова пока от лукавого. Голову будем ставить».

Голову ему поставили. А потом сняли — одним росчерком, одной подписью на контракте, о которой Глеб обещал молчать. Слово, данное живому, ещё можно вернуть. Слово, данное мёртвому, не возвращают.

— Съезжу, — сказал он.

Внизу, на парковке у конюшенного корпуса, его перехватила Снежана. Она умела перехватывать — оказываться на траектории так, будто стояла тут всегда, просто ты её почему-то не замечал. Сегодня на ней была форма клуба, белое с бордовым, и запах духов, который не выветривался из машины по два дня.

— Говорят, тебя отправляют в деревню, — сказала она,

облокотившись на его дверцу. — За рыжей кобылой. Хочешь совет?

— Нет.

— Всё равно дам. — Она улыбнулась. Улыбка у неё была отличная, честная работа дорогого стоматолога и многолетней привычки нравиться. — Не привози сюда Астахову. Кобылу — ладно, кобылу отдадим Лике. А сама она тебе за чем? Я же помню, как ты на неё вчера смотрел. Весь пьедестал помнит.

— Снежана.

— Что?

— Дверцу, — сказал Глеб.

Она выпрямилась, пожала плечами — жест был лёгкий, а взгляд нет.

— Ты восемь лет назад тоже думал, что всё разрулишь сам, — сказала она уже без улыбки. — Помнишь, чем кончилось.

Он помнил. В том и беда, что из всех присутствующих он один помнил, чем это кончилось на самом деле.

До «Заречья» было сто девяносто километров, и последние двадцать Глеб ехал по памяти, которая оказалась точнее навигатора: поворот у водонапорной башни, берёзовая аллея, за ней просвет — и поле. Поле не изменилось. Всё остальное изменилось. Забор из свежего горбыля стоял только вдоль дороги — с фасада, как заплатка на видном месте; дальше шла старая, серебряная от дождей доска. Крыша ле-

вадного сарая была латана рубероидом трёх разных возрастов. На плацу, где когда-то одновременно работали шесть всадников, теперь стояли ворота с провисшей верхней жердью, и трава подступала к песку вплотную, как вода к тонущему.

И всё же это была конюшня, а не руина. Дорожки выметены. Инвентарь на месте. Из денников смотрели ухоженные морды — попон и сеток хватало, а вот лошадей было мало: Глеб насчитал одиннадцать голов там, где раньше стояло тридцать.

Он поставил машину у ворот, не заезжая, — въехать сюда на машине «Державы» было бы как войти в чужой дом, не сняв сапог после плаца. Постоял. Со стороны левад долетал звук, по которому он, оказывается, скучал все восемь лет и двух слов не сказал об этом даже себе: ровный, мирный хруст — лошади ели траву. В Вестфалии трава хрустела точно так же. И всё-таки не так.

У въезда его встретил дядя Костя. Не поздоровался — просто встал на дороге, как столб, которые не объезжают.

— Зачем приехал?

— По делу, Константин Ильич.

— Дела у тебя, — дядя Костя сплюнул под ноги, не сводя с него глаз, — в Германии остались. И тут, восемь лет назад. Два дела у тебя, и оба дрянь.

Глеб выдержал его взгляд. Это было трудней, чем маршрут в сто шестьдесят: старик смотрел так, как смотрел бы

Астахов.

— Пять минут, — сказал Глеб. — Потом уеду.

Вера ждала его в конторке — крошечной комнате при конюшне, где за двадцать лет не изменилось ничего, кроме календаря на стене. Тот же продавленный диван с накинутой попоной, тот же несгораемый шкаф, та же кружка с отбитой ручкой на подоконнике. За этим столом Астахов когда-то разбирал с ним видеозаписи маршрутов, тыча карандашом в экран старенького ноутбука: здесь рано, здесь поздно, здесь лошадь тебя простила, а в Гран-при не простит.

Теперь за столом сидела его дочь. Прямая спина, руки на столешнице, взгляд как жердь на грудной высоте: не подойдёшь.

— Десять ноль-две, — сказала она вместо приветствия. — Опаздываешь.

— Пробка на мосту. — Он сел напротив, не дожидаясь приглашения, которого бы не последовало. — Я коротко. Мартынов хочет купить Искру. Для дочери. Цена — вдвое выше рынка, деньги завтра. Этого хватит закрыть банк и перекрыть крышу.

Он ждал крика. Крика не было. Вера смотрела на него секунд пять, потом спросила почти спокойно:

— Ты за этим вернулся? Восемь лет тебя не было — и тыходишь в эту конторку, садишься на стул моего отца и предлагаешь мне продать его лошадь. Его лошадь, Ратников. Последнюю.

— Я предлагаю тебе сохранить конюшню.

— Конюшню без Искры? — Она усмехнулась одними губами. — Это как сохранить дом, продав всех, кто в нём живёт. Нет. Ответ — нет. Передай своему хозяину.

Слово «хозяину» она положила точно, как кладут лошадь в поворот, — чтобы ударить. Глеб принял. За восемь лет он научился держать лицо при словах и похуже, на двух языках.

— Тогда второй вариант, — сказал он. — Слушай до конца, потом гони. «Державе» на осенней серии нужен результат во всех зачётах. Ты со своей кобылой в топ-тройке любого этапа, это видно даже из ложи Мартынова. Клуб берёт тебя на контракт до финала Кубка: Искра встаёт в денник в «Державе», ты едешь под флагом клуба, клуб закрывает твой просроченный платёж и договаривается с банком об отсрочке торгов. После финала — расходимся, конюшня твоя, лошадь твоя.

— А тренер? — спросила Вера. В конторке стало очень тихо; за стеной, в проходе, мерно, как метроном, стучала о кормушку копытом старая кобыла дяди Кости. — У «Державы» всадники не ездят без тренера клуба. Кто тренер, Ратников?

Он мог соврать. Смягчить. Сказать «это обсуждаемо».

— Я, — сказал он.

Вера встала. Стул скрипнул по половице — звук вышел громче слов.

— Убирайся, — сказала она ровно. — С моей конюшни. С

моих стартов. Из моей жизни. У тебя это хорошо получается — уходить, вспомни, как это делается.

Глеб поднялся. У двери он остановился — не оборачиваясь, потому что оборачиваться было нельзя, он знал это по лошадям: на закидке нельзя смотреть назад.

— Торги пятнадцатого октября, — сказал он двери. — Финал Кубка — десятого. Подумай, что бы он тебе сказал.

Он вышел. Сентябрьское солнце лежало на выметенной дорожке, у левады фыркали кому-то невидимому кобылы, и от всего этого — от запаха сена, от табличек, подписанных от руки, от собственной подлой роли парламентаря — у него до самой трассы ныло в груди, ровно и глухо, как старый перелом на погоду.

Вечером он долго стоял в деннике у Грифа, своего серого, вычищенного до блеска чужими руками, — в «Державе» всадникам не положено самим чистить лошадей, и это была ещё одна вещь, к которой Глеб не мог привыкнуть. Он всё-таки взял щётку — не потому, что конь был грязный, а потому, что руки просили работы, — и водил ею по тёмной, уже поднявшейся к осени шерсти, пока плечо не согрелось. Гриф дышал ему в затылок и не задавал вопросов. За это Глеб и держал его при себе семь лет и два переезда через границы: конь был единственным существом, при котором можно было молчать и не чувствовать себя лжецом.

Отчёт Мартынову он отправил в три слова: «Отказ. Работаю дальше». Ответ пришёл через минуту, тоже в три: «Неде-

ля тебе. Дальше — сам». Глеб убрал телефон и подумал, что «сам» в исполнении Мартынова означает юристов, перекупщиков и звонок в банк, — и что неделя, в сущности, очень мало для женщины, которая скорее сожжёт конюшню, чем примет от него спасение.

Телефон зазвонил в двадцать три десять. Номер был незнакомый, местный.

— Ратников, — сказала Вера. Голос у неё был сухой, стёртый, как после падения — когда уже поднялась, но ещё не отряхнулась. — Один вопрос. Один, и ответь честно, если помнишь, как это делается. Контракт подписывается с клубом. Решения по лошади — кормление, ковка, ветеринария, нагрузки — чьи?

— Твои, — сказал он. — Все до одного. Это будет в договоре отдельной строкой. Моё — только маршруты.

Пауза была длинной, на восемь лет.

— Завтра привезу документы на Искру, — сказала Вера. — И запомни: это не мир. Это отсрочка торгов.

Она отключилась первой. Глеб стоял в тёмном проходе чужой богатой конюшни, слушал, как ровно жуёт сено его конь, и думал, что из всех маршрутов, которые он ходил в жизни, этот будет самым трудным: шесть недель работать рядом с женщиной, которая ненавидит его за то, чего он не делал, — и не иметь права сказать ей правду.

Колокол уже дали. Сорок пять секунд пошли.

Глава 3

Искра не грузилась.

Она не грузилась час и десять минут: упиралась всеми четырьмя, пятилась, вставала свечкой у самого трапа конево-за и косила на Веру лиловым глазом, в котором крупными буквами было написано всё, что она думает об этой затее. Морковь кончилась. Терпение кончалось. Дядя Костя, державший кобылу, был спокоен, как человек, который грузил лошадей ещё в вагоны.

— Она не дура, — сказал он, когда Искра в шестой раз замерла передними на трапе и слезла обратно. — Она понимает, что насовсем.

— Не насовсем. — Вера вытерла ладонью лоб. Утро было серое, мелко сеяло, от мокрой резины трапа пахло дорогой. — До десятого октября. Потом вернёмся.

— Угу, — сказал дядя Костя и посмотрел поверх её головы на конюшню — на латаную крышу, на пустую половину денников, на всё, что оставалось ему сторожить одному. — Ты там это. Кобылу никому не давай. И себя.

— Дядь Кость.

— Молчу.

Искра зашла с седьмого раза — вдруг, разом решившись, как она делала всё в жизни, — грохнула копытами по трапу и встала внутри, дрожа боками. Вера подняла трап, задвину-

ла шкворни и минуту стояла, прижавшись лбом к холодному борту, слушая, как внутри переступает и глухо, вопросительно ржёт её лошадь.

«Держава» встречала асфальтом. Он начинался за кованой аркой ворот и лежал везде — гладкий, чёрный, размеченный белой краской: парковка для коневозов, зона разгрузки, стрелки, указатели. После заречьинской колеи с лужей на вечном месте этот асфальт казался Вере декорацией. На разгрузке их уже ждали двое конюхов в форменных бордовых куртках и человек с планшетом, который сверил номер машины, фамилию и кличку лошади так, будто пропускал их через границу.

— Денник сорок два, конюшня «Б», — сказал человек с планшетом. — Ветеринарный осмотр в тринадцать ноль-ноль, паспорт и прививки я сфотографирую сейчас. Юрист ждёт вас в административном корпусе в двенадцать. Спортивный директор просил передать: манеж номер два, шестнадцать часов.

— Здесь всегда так? — не удержалась Вера.

— Как? — не понял человек с планшетом.

— По расписанию.

— Здесь всё по расписанию, — сказал он без иронии, и Вера поняла, что попала не в конюшню, а в механизм.

Денник сорок два оказался размером с половину заречьинской конторки: светлый, с автопоилкой, с окном в проход и вторым окном на улицу, с толстым слоем свежих опи-

лок. Искра вошла, обнюхала углы, сунула морду в поилку, фыркнула на нержавейку — и вдруг припала на колени, завалилась и с наслаждением, с хрустом извалялась в опилках, болтая ногами в воздухе.

— Предательница, — сказала Вера. Стало чуть легче.

К двенадцати она пришла в административный корпус — стекло, серый камень, кофейный автомат, который умел восемь видов кофе. Юрист, молодой, вежливый, в очках без оправы, разложил перед ней договор — три экземпляра, флажки-стикеры там, где подписывать.

— Я коротко резюмирую, — сказал он и резюмировал действительно коротко: контракт до пятнадцатого октября, выступления под флагом клуба на трёх этапах и финале Кубка, клуб закрывает просроченный платёж и гарантирует банку отсрочку торгов, содержание лошади за счёт клуба, все решения по лошади — ветеринария, кормление, ковка, нагрузки — за владельцем, тренировочный процесс — за спортивным директором. Неустойка при досрочном выходе. Стандартные положения.

Телефон Веры завибрировал. «Конюшня Б, — писал незнакомый номер, — ваша кобыла разнесла автопоилку, вода в деннике, переставляем в 44, нужна хозяйка». Ну конечно. Оставь Искру одну на сорок минут в новом месте.

— Пункт двенадцатый — общие условия, — ровно шелестел юрист, — двенадцать-два — страхование, двенадцать-три — использование изображения в клубных медиа,

двенадцать-четыре — преимущественные права клуба в отношении спортивной лошади, участвующей в программе, стандартная формулировка, двенадцать-пять...

— Где подписывать? — спросила Вера, глядя в телефон, где теперь была фотография: Искра по щётки в воде, автопоилка вырвана с мясом, морда довольная.

— Здесь, здесь и здесь. И на каждой странице внизу.

Она подписала — здесь, здесь и здесь, и внизу на каждой странице, быстрым, злым росчерком, и уже в дверях услышала, как юрист говорит в спину, аккуратно, как все они говорят:

— Ваш экземпляр можно забрать в любое время. Рекомендую ознакомиться с полным текстом.

— Обязательно, — сказала Вера и не забрала.

На обратном пути из административного корпуса её перехватила Вольская. Снежана шла по проходу конюшни «Б» в бриджах и клубном жилете, с бутылкой изотоника в руке, и затормозила возле Веры с точностью человека, который никогда ничего не делает случайно.

— Устроилась? — Она заглянула в сорок четвёртый денник. Искра, уже перемещённая, вскинула голову и прижала уши так, что они исчезли в гриве. Снежана отступила на полшага — быстро и профессионально, надо отдать ей должное. — Какая... непосредственная. Слушай, тут все свои, поэтому спрошу прямо: тебе объяснили, как у нас считается зачёт? Клубный. По лучшему результату.

— Мне объяснили, где мой денник и мой манеж, — сказала Вера. — Остальное посчитаю сама, я быстро считаю.

— Я помню. Ноль четыре секунды. — Снежана отпила изотоник и улыбнулась поверх бутылки. — Только вот что, Астахова. Глеб красиво рассказывает про биомеханику, он и мне рассказывал. Года три назад. А потом на отборе поехал сам — и поехал на выигрыш, а не на мою красивую спину. Такой человек. Учти в расчётах.

Она ушла, не дожидаясь ответа, и стук её каблуков ещё долго жил в гулком проходе. Вера стояла у денника, и Искра тёплой мордой толкала её в плечо: услышала то ли имя, то ли интонацию.

В шестнадцать ноль-ноль она въехала в манеж номер два. Манеж был такой, что в нём хотелось снять шапку: сто на сорок, кварцевый грунт с геотекстилем, зеркала вдоль короткой стенки, свет без единой тени. У борта стоял Ратников — в рабочем, с хлыстом-тросточкой под мышкой, без телефона, без кофе, без всего, с чем стоят у борта начальники. Просто стоял и смотрел, как они едут. Вера почувствовала, что спина у неё выпрямляется сама, и разлилась на собственную спину.

— Разомнись как обычно, — сказал он вместо здравствуйте. — Как дома. Я посмотрю.

Двадцать минут он молчал. Вера разминалась, как дома: шаг, рысь по стенке, переходы, галоп, пара вольтов. Искра, взбудораженная переездом, тянула, торопилась, валилась на

внутреннее плечо; Вера собирала её привычно, на упоре, рука к ноге — так они ездили всегда, так они выиграли всё, что выиграли.

— Достаточно, — сказал Ратников. — Шагом. Теперь скажи мне сама, что я видел.

— Лошадь после переезда, — сказала Вера, проезжая мимо. — Свежую. Завтра будет мягче.

— Я видел лошадь, которая держит спину, — сказал он, — и всадницу, которая держит лошадь. Вы обе работаете вдвое дороже, чем надо. На маршруте в сто сорок пять вам этого хватает. На ста пятидесяти в воскресенье перепрыжки этого не хватит — счёт ты видела сама.

— Мы прошли этот маршрут быстрее тебя.

— С жердью на песке, — сказал он спокойно. — Быстро и с жердью — это не быстро. Это дорого.

Вера остановила кобылу посреди манежа. В зеркалах отражались они трое: рыжая лошадь, женщина с прямой спиной, мужчина у борта. Красивая была картинка. Военная.

— Скажи прямо, Ратников. Ты хочешь переставить мне лошадь за шесть недель. Лошадь, которую ты видел два раза в жизни.

— Я хочу убрать одну вещь, — сказал он. — Одну. Она кроется в связках: ты добираешь её руками на подходе, потому что не веришь, что она сама привезёт тебя в расчёт. Она злится и прыгает через руку, плоско, на скорости. Пока жерди лёгкие — падает одна. В финале жерди будут тяжёлые.

— Она прыгает так десять лет.

— Она прыгает так, как её выучили защищаться. — Он оттолкнулся от борта, подошёл — не к Вере, к лошади, на корпус сбоку, на безопасное расстояние, которое выдало в нём человека, битого лошадьми. — Две недели без высоты. Кавалетти, жердевые ряды, работа на растяжку сверху вниз. Никакого сбора на упоре. Ты отдаёшь ей расчёт, она отдаёт тебе спину.

— Две недели из шести?! — Вере показалось, что она ослышалась. — У нас этап через десять дней. Ты предлагаешь мне выйти на этап на лошади, которой две недели не давали прыгать?

— Я предлагаю тебе пропустить этот этап.

Вот теперь стало тихо по-настоящему. Даже Искра перестала жевать железо.

— Контракт, — сказала Вера медленно, — обязывает меня выступить на трёх этапах. Твой контракт, Ратников. Твоего клуба.

— Контракт обязывает клуб выставить всадника, — сказал он. — На этап в Раздольном поедет Снежана. Ты поедешь на два оставшихся и на финал. С лошадью, которая к тому времени будет прыгать на пятнадцать сантиметров выше сегодняшней. Я это уже делал, Вера. Я знаю, как это работает.

— В Германии.

— Везде. Это биомеханика, она без гражданства.

— А если не сработает? — Вера тронула кобылу и поехала

на него, шагом, глаза в глаза. — Если через две недели я получу лошадь, которая разучилась старому и не выучила новое? Такое ведь тоже бывает, тренер. Отвечать кто будет — ты? Тебе-то что: не выйдет — спишешь на дурную кровь и хозяйку-дикарку. А у меня — она одна. И октябрь один.

Он не отступил ни на шаг, и Искра остановилась сама, в полуметре, дыша ему в грудь.

— Отвечать буду я, — сказал он. — Это тоже будет в программе, письменно: не выйдем на прежние результаты к тридцатому сентября — я снимаю свой план и до финала работаем по-твоему. Потеряешь две недели. Я — работу. Мартынов не держит тренеров, которые ошибаются за его деньги.

Вера смотрела на него сверху, с высоты седла, и искала в его лице хоть что-нибудь — хитрость, азарт, самолюбование, что угодно, за что можно было бы зацепиться и сказать «нет». Лицо было закрытое и усталое, и на нём не было ничего, кроме уверенности человека, который посчитал и знает.

Отец бы согласился, вдруг поняла она. Отец бы согласился с ним, а не с ней, — и от этой мысли захотелось ударить.

— Программу — письменно, — сказала она. — Каждый день, каждая нагрузка. Ветврача на кавалетти — моего, не клубного. И если я увижу, что лошадь теряет, — я останавливаю всё в любой день, без твоих тридцатых чисел.

— Принято, — сказал он сразу, будто ждал худшего.

Вечером она долго стояла у сорок четвёртого денника. По проходу ездила машинка, полирующая резиновые полы, где-

то шипела мойка, пахло чужим богатым порядком — опилками из пакетов, немецкими подкормками, ничем родным. Искра стояла у решётки и смотрела в дальний конец прохода, туда, где у выхода Ратников о чём-то говорил с ночным конюхом — неторопливо, подробно, кивая на денник сорок четыре.

Кобыла смотрела на него, поставив уши, и не жевала.

— Даже не думай, — сказала Вера тихо.

Искра покосилась на неё лиловым глазом и снова уставилась в проход.

Глава 4

К концу первой недели Вера ненавидела кавалетти, геотекстиль, восемь видов кофе, бордовые куртки, вежливость, расписание — и больше всего то, что план работал.

Это было видно уже на четвёртый день, и не заметить этого мог только слепой, а Вера слепой не была. Искра менялась. Уходила зажатость из спины, из шеи, из глаза; кобыла на жердевых рядах вдруг начинала думать — сама укорачивала, сама добирала, сама искала ногами расчёт, и когда находила, в её рыжих ушах появлялось что-то такое, чего Вера не видела с тех пор, как Искра была жеребёнком: интерес. Не злость, не готовность воевать со всем миром за жердь. Интерес.

И всё бы ничего, если бы это происходило от Вериной руки.

Но это происходило от его голоса.

— Ещё раз, — говорил Ратников от борта, негромко, в одну и ту же силу, как метроном. — Не помогай ей. Брось повод на подходе. Совсем брось. Она справится.

— Она вынесет плечом.

— Пусть вынесет. Один раз вынесет, второй посчитает. Брось повод, Вера.

И Вера, стиснув зубы, бросала повод, и кобыла на секунду терялась, тыкалась в пустоту, где всегда была рука, — а

потом опускала шею, смотрела вниз, на жерди, и начинала считать сама. И проходила ряд так, что становилось слышно, какая тишина стоит в огромном манеже: ни сбоя, ни цока — только мягкий, круглый ритм.

— Хорошая девочка, — говорил Ратников.

Искра поводила ухом на его голос. На его, вот что было невыносимо. За десять лет кобыла выучила Верин голос, как выучивают колокол на обед, — а на этот, чужой, низкий, экономный, она поворачивала ухо с четвёртого дня, и в этом было такое спокойное, такое будничное предательство, что Вера ловила себя на желании нарочно ошибиться. Сделать плохо. Доказать, что без неё, без её руки, без их общей старой войны эта лошадь — никто.

Она не делала плохо. Она была всадницей, а не ребёнком. Но однажды утром, в среду, когда Искра после переезда снова закипела — на улице шёл монтаж трибун к клубному турниру, гремело железо, летали плёнки, — Вера двадцать минут не могла добиться ни одного спокойного темпа, и чем больше не могла, тем сильнее сжималась сама, и кобыла кипела уже от её сжатости, круг замкнулся, как замыкался годами.

— Слезь, — сказал Ратников.

— Что?

— Слезь с лошади. Пять минут.

Надо было послать его. Послать, уехать в дальний конец манежа, отработать самой — как всегда, как всю жизнь. Вера

спрыгнула. Песок мягко ударил в подошвы, и она осталась стоять у борта, держа в руках пустоту.

Ратников взял повод — не коротко, под самым трензелем, как берут чужих строгих лошадей, а длинно, свободно, почти небрежно. И пошёл. Просто пошёл шагом по манежу, не глядя на кобылу, чуть впереди её плеча, и что-то говорил — не ей и не себе, ровное, без смысла, вроде «ну что, ну что ты, работаем, всё работа». Искра шла за ним, потряхивая головой, потом перестала потряхивать. Потом вздохнула — глубоко, со всхлипом, как вздыхают лошади, когда отпускает, — и потянулась носом вниз, к песку, и шея из напряжённой дуги стала просто шеей.

Четыре минуты. Вера стояла у борта и смотрела, как её лошадь, её невозможная, никому не дающаяся лошадь ходит за этим человеком по кругу, опустив голову, сонно шевеля ушами в такт его голосу.

Так ходили лошади за отцом.

Это было то самое — та манера держать повод на весу, двумя пальцами, та привычка идти не рядом, а на полкорпуса впереди, тот ровный бессмысленный говорок. Школа Астахова, живая, во плоти, в чужом человеке, который увёз её в своей мышечной памяти в Германию и привёз обратно, — а у Веры, родной дочери, руки были жёстче, и голос выше, и терпения меньше, и от этой несправедливости у неё защи-пало в носу так внезапно, что пришлось сделать вид, будто в глаз попал песок.

— Держи. — Ратников подвёл кобылу, отдал повод. Вблизи было видно, что он тоже это знает — про руки, про голос, про отца. Он всё это знал и молчал, и правильно делал, что молчал. — Сядешь — поедешь на длинном. Она уже твоя.

«Она всегда была моя», — хотела сказать Вера. Не сказала. Села и поехала на длинном поводе, и Искра несла её мягко, кругло, экономно, как во сне.

Программу он отдал ей, как и обещал, письменно — в тот же вечер, в первый день, распечатанную, по датам, до самого финала. Вера читала её ночью в съёмной клубной комнате для спортсменов, готовая воевать с каждой строчкой, и на третьей странице остановилась. Нагрузки были размечены короткими шифрами на полях: «т-3», «ж/р 5», «к-8, руки!». Она знала эту систему сокращений. Этой системой были исписаны отцовские тетради, все двадцать лет тетрадей, что лежали сейчас в несгораемом шкафу в заречьинской конторке: «т» — темп, «ж/р» — жердевой ряд, восклицательный знак — там, где всадник виноват, а не лошадь. Отец не публиковал свою систему. Её вообще знали человек пять в стране.

Вера долго сидела над распечаткой, потом закрыла её и легла, не разбирая постели. Воевать со строчками расхотелось. Со строчками, написанными отцовским шифром, воевать было всё равно что воевать с самим шкафом в конторке.

Лица Мартынова возникла в её жизни в тот же день, после

обеда, — просочилась в конюшню «Б» мимо всех запретов, встала у сорок четвёртого денника и сказала Искре, которая как раз прижала уши для порядка:

— Да ладно, я тоже не в настроении.

Вера выглянула из амуничника. Девочка, лет пятнадцати, тонкая, в дорогуших бриджах и в кроссовках с оторванным светоотражателем, стояла к кобыле вполоборота, не глядя ей в глаза, руки в карманах — всё делала правильно, между прочим, — и Искра, подержав уши прижатыми положенные три секунды, выставила их вперёд и потянулась нюхать чужой рукав.

— Она кусается, — сказала Вера.

— Знаю. Про вас все говорят. — Девочка не обернулась, голос у неё был быстрый, глотающий окончания. — Вы Астахова. Я видела ваш маршрут в Иванове, в мае, вы к шестому срезали по такой траектории, что наш тренер сказал «самоубийца», а я замерила по видео — у вас там было ноль восемь секунды чистого выигрыша. Я Лика. Меня заставляют ездить на Пикколо, а он диван. Можно я буду смотреть, как вы работаете? Я тихо. Я всегда тихо смотрю, когда интересно, это когда неинтересно, я разговариваю.

Вера моргнула. За последние три года никто не разбирал её маршруты по видео с секундомером — ни спонсоры, которых не было, ни журналисты, которым было не до второй лиги.

— Смотри, — сказала она. — Только не с трибуны мане-

жа. Снизу, от борта. С трибуны ничего не видно, кроме красоты.

Ли́ка посмотре́ла на неё так, будто ей подарили лошадь.

С этого дня она торчала у борта каждый вечер — действительно тихо, только иногда, после какого-нибудь ряда, шёпотом говорила «ничего себе» — и постепенно, по слову, по два, из неё высыпалось всё устройство её жизни: мама в Лондоне, папа на совещаниях, тренер боится папы и поэтому хвалит, Пикколо хороший, но с ним не о чем разговаривать, а вот такие лошади, как ваша, это же совсем другое, такие один раз в жизни бывают, да?

— Да, — сказала Вера. — Один.

— Я папе так и сказала. — Ли́ка болтала ногой, сидя на бортике. — Что не хочу готовую. Хочу, чтобы как у вас: чтобы сама, с нуля, чтобы она была моя. А он говорит: вырастешь — поймёшь, что время дороже. Он вообще считает, что всё покупается, только торговаться надо уметь. — Она вдруг осеклась и посмотре́ла на Веру быстрым, совсем не детским взглядом. — Вы не думайте. Я ему про вашу не говорила ничего такого.

— Про мою — что?

— Ничего, — сказала Ли́ка и спрыгнула с бортика. — Мне пора. Пикколо, наверное, соскучился. Хотя вряд ли.

Вера смотрела ей вслед и чувствовала, как между лопаток медленно ползёт холодок — беспричинный, глупый; мало ли что говорят пятнадцатилетние. Она вернулась к деннику, где

Искра доедала вечернее сено, и холодок постепенно растаял в тёплом, хлебном запахе.

Вечером позвонил дядя Костя. Голос у него был такой, что Вера сначала испугалась, а потом поняла: это у него голос хороших новостей, просто им редко пользовались, заржавел.

— Из банка бумага пришла, — сказал он. — Официальная. Торги перенесены, реструктуризация, всё как твои обещали. Я перечитал четыре раза. Верка. Живём до весны.

— Живём, — повторила Вера.

Она сидела на пустой трибуне манежа номер два, одна во всём огромном светлом зале, и держала телефон у уха ещё долго после того, как дядя Костя отключился. Надо было признать вслух то, что она неделю запрещала себе признавать: план Ратникова работал. Весь. И лошадь, и банк, и расписание. Механизм, в который она попала, перемалывал её беду спокойно и методично, как машинка внизу полировала полы, и человек, который этот механизм на неё навёл, за неделю ни разу не потребовал благодарности, не напомнил про восемь лет, вообще не сказал ей ни одного слова, кроме слов о лошади.

Может быть, подумала она, и от этой мысли стало страшно, потому что она была первая такая мысль за восемь лет. Может быть.

Внизу хлопнула дверь конюшенного перехода.

Она глянула — и не ушла, а осталась сидеть в темноте верхнего ряда, потому что в манеж въехал Ратников. Один,

на Грифе, в десять вечера, без единого зрителя — он не знал, что зрители есть. У дальней стенки стояло одиночное препятствие, которое днём никто не трогал: отвесный чухонец, и Вера по стойкам, по меткам на них, определила высоту раньше, чем поверила себе.

Сто пятьдесят пять.

Он отработал разминку — коротко, сухо, как делают все люди, у которых нет лишних сил, — и пошёл на препятствие. Раз. Второй. Пятый. Гриф прыгал ровно, с запасом, и в пустом манеже каждый толчок отдавался под крышей, как удар в дверь. Ратников не снижал и не заканчивал. Он работал так, как работают не тренеры.

Так работают те, кто сам едет финал.

Вера сидела в темноте, обняв колени, и холодок, растаявший было у денника, вернулся и лёг между лопаток на своё привычное место. Она вспомнила стартовые протоколы, которые листала не глядя, клубную заявку, три фамилии в графе «финал Кубка, Гран-при»: Вольская. Астахова.

Ратников.

Она забыла. За кавалетти, за банком, за его ровным голосом — забыла главное: десятого октября они выйдут на одно поле. Он ставит ей лошадь, он чинит её жизнь — и он же готовится, ночами, в одиночку, обыграть её на самом важном маршруте этой жизни.

— Ну конечно, — сказала Вера тихо, в пустоту тёплого манежа. — Спасибо, что напомнил, тренер.

Она встала и ушла не попрощавшись. Внизу мерно, как метроном, стучали о грунт копыта.

Глава 5

Выезжали в пятницу, затемно, двумя коневозами: в большом — Барбадос, Искра и вороной запасной Снежаны, в малом — Пикколо, гнедой пони Лики, которому предстоял юниорский маршрут и который единственный из всей команды выпался.

Искра погрузилась с третьего раза. Для неё это был прогресс масштаба государственной реформы, и Вера сказала об этом вслух — в пространство между рампой и утренним туманом, никому, — а Ратников, проверявший растяжки в соседнем отсеке, отозвался из темноты:

— К финалу будет заходить с первого.

— Спорим?

— Нет, — сказал он. — Я спорю только на то, в чём не уверен. Иначе неинтересно.

На въезде их встретил ветеринарный контроль: паспорта, прививки, термометрия, осмотр. Искра отнеслась к градуснику как к личному оскорблению, но стерпела — и Вера, державшая её, поймала себя на том, что говорит кобыле в ухо ровным бессмысленным говорком «ну что ты, ну всё, работаем», — и осеклась, узнав интонацию. Так подцепляют чужую манеру, как простуду: незаметно, воздушно-капельным.

Турнирная конюшня жила своей субботней жизнью: пахло чужим сеном, из динамиков над разминочным полем чи-

тали стартовые протоколы, по проходам возили тачки, где-то ржал жеребец, и ему отвечали сразу трое. Ли́ка ехала своих юниорских сто двадцать в одиннадцать утра — и проехала их со счётом четыре штрафных, зацепив предпоследний чухонец, потому что Пикколо к концу маршрута вспомнил, что он, в сущности, диван.

— Четвёртое место! — Она прибежала к денникам сияющая, со шлемом под мышкой и розеткой в зубах, как спаниель. — Из шестнадцати! Он ЛЕТЕЛ, вы видели? Ну, почти летел. Ну, местами.

— Видела, — сказала Вера честно. — На тройной связке — летел.

Отец Ли́ки видел тоже — он приехал к обеду, посмотрел юниорский протокол в телефоне и сказал «четвёртое», без вопросительного знака и без всего остального, и у Ли́ки выключилось сияние, как выдёргивают шнур из розетки.

Впервые за десять лет Вера стояла у старта на спокойной лошади — и не знала, что с этим делать.

Она привыкла к другому. К тому, что последние минуты перед маршрутом — это война на два фронта: удержать кипящую Искру и удержать себя, и в этой войне сгорал страх, на него просто не оставалось места. А теперь кобыла стояла под ней ровно, переноса вес с ноги на ногу, поводя ушами на гул трибун — любопытно, без злости, — и весь страх, которому раньше не хватало места, разом отыскал свободную площадь и расположился в желудке со всеми удобствами.

— Ты дышишь? — спросил Ратников снизу. Он стоял у стремени, положив руку на подпругу, — не проверял, подпруга была проверена трижды, просто рука там жила. — Дыши. Она в лучшей форме за год. Вопрос только в тебе.

— Спасибо. Очень поддерживает.

— Я не поддерживаю. Я информирую.

Этап шёл в большом загородном комплексе в двух часах от Москвы: конкурное поле под открытым небом, песок после утреннего дождя тяжеловат, но ровен; тринадцать препятствий, сто сорок пять, норма времени восемьдесят семь секунд. Утром они прошли маршрут пешком — вдвоём, шаг в шаг, и это было странное дело: восемь лет Вера ходила маршруты одна, меряя чужие связки своим шагом, а тут рядом шёл человек, который мерил их тем же самым шагом, отцовским, — семьдесят сантиметров, не сбиваясь, хоть ночью разбуди.

— Здесь шесть ровных, — говорил он у синей связки. — Не поддавайся полю, оно будет тянуть на семь. Все поедут семь, у всех будет закидка или жердь. Шесть.

— Там нет шести. Там семь неполных.

— Для прежней Искры — семь неполных. Для этой — шесть. Ты её ещё не догнала, Вера. Она уже другая, а ты едешь на той, которую помнишь.

Она хотела огрызнуться и не стала, потому что в среду на разминке было ровно это: она зашла на ряд из старой памяти, руками, — и Искра впервые в жизни не стала воевать,

а просто вопросительно скинула темп: мол, определись, кто из нас считает. Кобыла поверила в новую жизнь быстрее хозяйки. Лошади вообще быстрее прощаются с прошлым — им не жалко.

Разминку перед маршрутом Ратников вёл, как всё, что он вёл, — на вычитание. Другие тренеры у разминочного препятствия кричали, считали вслух, поднимали жердь на десять сантиметров выше маршрутной «для запаса»; он стоял молча, поднял Искре четыре прыжка — четыре, не двадцать, — и сказал «всё, она готова, не растрачивай». У соседнего препятствия всадницу из чужого клуба заставляли прыгать двенадцатый раз подряд; лошадь заходила всё глубже и злее, и Вера, глядя на это, вдруг с опозданием на неделю поняла смысл его вечного «дорого»: можно оплатить маршрут заранее, на разминке, всей лошадиной злостью и свежестью, — и выйти на поле банкротом.

Снежана стартовала восьмой и проехала чисто — надо было отдать ей должное, ездить она умела: сухо, расчётливо, ни одного лишнего сантиметра. Барбадос нёс её по маршруту, как дорогая машина по хайвею. Восемьдесят две и четыре — лучшее время из чистых.

— Учись, — сказала она, проезжая мимо Веры на выходе, и улыбка у неё была спортивная: два ряда белых зубов и ноль граммов тепла.

Вера стартовала двадцать девятой. И случилось то, чего она боялась больше жерди на песке: ничего не случилось.

Не было войны. Не было привычного «удержать-дожать-доорать». Искра вылетела на поле, увидела первое препятствие и повела на него сама — тем новым, круглым, размашистым галопом, у которого внутри был счёт, как метроном внутри музыки. Вере оставалось делать самое трудное из того, что она делала в жизни: не мешать. Держать линию, держать корпус, бросать повод там, где неделю назад вцепилась бы, — и слушать, как под ней работает умная, свободная, счастливая лошадь.

На синей связке поле, как и обещал Ратников, потянуло на семь темпов. Вера услышала это тянущее «ещё чуть-чуть» всем телом — и села, и смолчала руками, и Искра сделала шесть. Широких. Наглых. Толпа над трибуной коротко ахнула — там, наверху, было видно, какой это был риск и какой это был расчёт.

Финишный створ она прошла и не сразу услышала диктора, потому что кровь в ушах была громче:

— Ноль штрафных! Время восемьдесят одна и семь. Новый лидер!

Перепрыжку ехали пятеро. Снежана — чисто, тридцать девять и три: она выжала из укороченного маршрута всё, что там лежало на поверхности. Местный ветеран на опытном сером — жердь. Юниор из чужого клуба — две жерди, зато красиво. Высокий немолодой мастер из Питера — чисто, сорок ровно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.